

DOI 10.37386/2305-4077-2021-2-9-20

Е. И. Анненкова¹*Российский государственный педагогический университет имени
А. И. Герцена***«...ВСЁ НЕ ТОЛЬКО САМАЯ ПРАВДА, НО ЕЩЕ
КАК БЫ ЛУЧШЕ ЕЁ»****(ТАЙНА ЕДИНСТВА ЭТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО
В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ПУШКИНА И ГОГОЛЯ)²**

В статье проводится сопоставительный анализ размышлений Пушкина и Гоголя о характере взаимосвязи этического и эстетического начал в творческом процессе. На материале поздней лирики Пушкина и эпистолярного наследия Гоголя начала 1840-х годов, историко-литературного экскурса в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» выявляются как сближения, так и принципиальные различия позиций двух авторов. Суждения Гоголя о тайне личности Пушкина, о «Капитанской дочке» как «лучшем русском произведении в повествовательном роде» можно рассматривать в качестве основы дальнейших разнонаправленных интерпретаций духовного феномена Пушкина в русской критике и литературоведении.

Ключевые слова: Н. В. Гоголь и А. С. Пушкин, эпистолярное наследие, творческий процесс, христианство, аскетическая традиция, духовный труд.

E. I. Annenkova*The Herzen State Pedagogical University of Russia***«...EVERYTHING IS NOT ONLY THE MOST TRUTH,
BUT EVEN BETTER THAN IT»****(THE SECRET OF THE UNITY OF ETHICAL AND AESTHETIC
IN CREATIVE MINDS OF PUSHKIN AND GOGOL)**

The article provides a comparative analysis of the reflections of Pushkin and Gogol on the nature of the relationship between ethical and aesthetic principles in the creative process. Based on the late lyric poetry of Pushkin, Gogol's epistolary legacy of the early 1840s and a historical and literary excursion in «Selected Passages from Correspondence with Friends», both rapprochements and fundamental differences in the positions of the two authors are revealed. Gogol's judgments about the mystery of Pushkin's personality and about «The Captain's Daughter» as «the best Russian work in a narrative genre» can be considered as the basis for further multidirectional interpretations of the spiritual phenomenon of Pushkin in Russian criticism and literary criticism.

Keywords: N. V. Gogol and A. S. Pushkin, poetry, epistolary heritage, creative process, Christianity, ascetic tradition, spiritual labor.

¹ Елена Ивановна Анненкова, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы РГПУ им. А. И. Герцена.

² Работа выполнена при поддержке РФФИ, научный проект № 20-012-00139.

Характеризуя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» «существо» и «особенность» русской поэзии, Гоголь назвал «Капитанскую дочку» «решительно лучшим русским произведением в повествовательном роде» и, думается, точнее, чем кто-либо другой, сформулировал существо этого произведения: «Чистота и безыскусственность вошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной <...> всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее» (VIII, с. 384)³. Можно предположить, что работая над «Выбранными местами», Гоголь по-своему приближался к Пушкину (то есть постигая существо поэта, а не только выражая благоговение, как в молодые годы), но в этом движении отчетливо просматривается если не двойственность, то разнонаправленность: находя в произведении Пушкина не только правду, а что-то «лучше ее», он обнаруживал и собственное желание разглядеть или представить лучшее, еще не явленное в действительности существо русского человека; при этом одновременно и дистанцировался от пушкинской эпохи, заявлял: «Другие уже времена пришли» (VIII, с. 407).

И для Пушкина, и для Гоголя природа соотношения этического и эстетического – некая загадка, сложный вопрос. Пушкин мог сказать, что поэзия выше добродетели или «совсем другое дело»; в письме к В. А. Жуковскому (1825), как будто лишь по конкретному поводу, чуть ли не шутливо, высказал принципиальную для него в ту пору позицию: «Ты спрашиваешь, какая цель “Цыганов”? вот на! Цель поэзии – поэзия – говорит Дельвиг (если не украл этого)» [Пушкин, т. X, с. 14]. Исследователи отмечали, что как декларация независимости поэзии, так и мысль о пророческой роли поэта широко представлены в творчестве и литературной критике Пушкина [Кибальник, 1998, с. 70]. Поэзия имеет право на свое видение исторического события или исторического лица. В стихотворении 1830 г. знаменательны строки: «Оставь герою сердце; что же / Он будет без него? Тиран!» [Пушкин, III, с. 200]. Поэзия может себе позволить не сводиться ни к «добродетели», ни к «правде». Но вот что о **прозаическом** пушкинском произведении говорит Гоголь: «Не только самая правда, но ещё как бы лучше ее».

Из заявленной темы, чрезвычайно обширной, выберу два аспекта, каждый из которых также не может быть рассмотрен во всей полноте, но соотношение их и некое сопряжение хотелось бы выявить или хотя бы обозначить:

– На каком этапе творческого пути Пушкина и Гоголя обостряется вопрос о взаимодействии (или несовместимости) этического и эстетического?

– Связано ли это с осмыслением особой природы эстетического и отношений эстетики с религиозно-духовным началом?

Вглядываясь в характер гоголевского рассмотрения истории русской поэзии в «Выбранных местах...», замечаем, что более всего Гоголя занимает факт перелома в творческой эволюции того или иного поэта – свершившийся или предполагаемый, а подчас и прогнозируемый автором книги. Таков взгляд

³ Здесь и далее цит. по изд.: [Гоголь, 1937–1952], указывая в круглых скобках том – римской цифрой, страницу – арабской. Везде во всех цитатах, где специально не отмечено, **п/ж шрифт** мой. – Е.А.

на поэтов XVIII в., пушкинской поры, Лермонтова и, конечно, Пушкина. Создается впечатление, что Гоголь еще в первой половине 1830-х годов, высказывая неоднократно свое благоговейное отношение к Пушкину, имел более сложное отношение к поэту, на что достаточно давно и, кажется, первым обратил внимание А. С. Долинин [Долинин, 1922, с. 181–197]. То есть реакция Гоголя на феномен Пушкина не исчерпывалась ни преклонением, ни желанием сравняться, а подсознательно могла иметь и другую основу: – ощущение себя тем «другим», кто, как только представится возможность (а скорее – историческая и историко-культурная необходимость), и явит себя всем, отвечая при этом и новой культурной потребности.

Думается, что в основе различия двух художников – как раз понимание соотношения этического / эстетического, которое вначале развело, а затем сблизило писателей. Обоим – как художникам XIX в. – хотелось единства этих начал. Оба к концу пути попытались его явить, хотя совершенно по-разному. Оба при этом отозвались на сложность перехода от древнерусской культуры, рождающейся в русле христианства, к литературе Нового времени; оба проявили интерес к переломным моментам истории, задумавшись и над переломами в творческом самосознании художника.

В статье «О средних веках» Гоголь свободно соединяет категории, обусловленные средневековой культурой, и лексику романтического искусства Нового времени. Характеризуя прошлое, он использует понятия настоящего и выделяет как лейтмотивы: «суровый рыцарь», «женщина» – это «божество», «возвышенная любовь», «странническая жизнь», «чудесное» и т. д. Но художник в таком контексте оказывается лишен нравственного выбора. Действия его и образы предопределены эстетикой времени и тем «всеобщим взрывом», который означил переход к «векам новым» (VIII, с. 14). Тяготение к контрастам, гротеску, «чудесному» и «величественному» оказывается обусловлено глобальным переходом в истории человечества, ставшим «великим преобразованием всего мира» (Там же). Средние века «составляют узел, связывающий мир древний с новым» (Там же) – известный тезис Гоголя.

Однако сам Гоголь, в рамках уже Нового времени, намечает и для самого себя, и для художника в целом не менее «колоссальный» и даже «чудесный» перелом: объявляет необходимость возврата к религиозным основам светского искусства, что, вместе с тем, не должно было означать простого возвращения к традиции. Гоголь намечал новый «узел», представляющий, вместе с тем, – противоречивое, тоже своего рода «взрывное» единство – взаимообусловленность исторического момента и самосознания художника. При этом выявляется, что именно в такой перспективе происходит пересечение путей Гоголя и Пушкина.

И. З. Сурат обратила внимание на то, в какой момент творческого развития проявляется у Пушкина интерес к житийной литературе. Он делал выписки из отдельных житийных текстов уже в 1825 г., регулярно читал «Четыи Минеи», и это говорит о том, что данный пласт нашей духовной культуры был для него

существенно важен. Пик же интереса и внимания к житийной литературе, полагает исследовательница, приходится на 1835 г., когда лицейские друзья поэта вовлекли его в работу над «Словарем историческим о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местно чтимых». В стихотворении «Родрик» (1835) Пушкин усилил житийные подтексты поэмы Саути и обогатил их русской традицией [Сурат, 1999, с. 150–155; Фомичев, 1987, с. 28–32].

Сразу возникает вопрос, уже сформулированный: «завязано» ли (и в какой мере) сближение этического и эстетического на религиозных убеждениях? Объективно, такой предопределенности нет. Но у Пушкина и Гоголя логика творческого развития оказывается именно такова. Однако в чем же «тайна»?

Погружаясь в произведения Пушкина и Гоголя, где заявлена духовно-этическая проблематика (Добро / Зло; Христос / Антихрист), мы замечаем, что для выражения этих, столь разных начал используется одна и та же лексика. Да и где взять другую? Любой пишущий располагает в сфере родного языка. Но вот, на мой взгляд, достаточно выразительный пример. «Радуйтесь и веселитесь» – один из важнейших христианских принципов; он воплощается в богослужебных, молитвенных, евангельских текстах. В лирике Пушкина он используется и буквально, в прямом смысле («Весело, обув железом ноги...»; «...пожелать веселых много лет»), и как антипод внешне близким, но семантически совсем иным понятиям – «смех», «насмешливость». В стихотворении «Демон» (1823):

Не верил он любви, свободе;
 На жизнь **насмешливо** глядел —
 И ничего во всей природе
 Благословить он не хотел [Пушкин, II, с. 159].

Насмешливость предстает как антипод благословения и благоволения к жизни. «Веселость, простодушную и вместе лукавую» [Пушкин, VII, с. 345] увидел поэт в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», хотя «веселье» в первом гоголевском цикле было далековато от христианского «радуйтесь и веселитесь»: исследователи обращали внимание на сложную природу преломления архаической культуры в творчестве Гоголя [Иваницкий, 2001, с. 248–292; Софронова, 2010, с. 57–100]. В какую сторону может повернуться «веселье», какой лик явит? – открытый вопрос. Не в том ли случае может обернуться страхом, когда нет опоры на христианское мироощущение (радуйтесь и благодарите и – как естественное следствие – веселитесь, в том числе, без лукавства, которое чутко уловил Пушкин в первой книге писателя).

Гоголь как никто и, кажется, первым уловил и выразил двойственность, даже оборотничество понятий и состояний, что определённое всего проявилось в неоднозначности гоголевского восприятия красоты [Бочаров, 2003, с. 15–35]. Литература отменила фольклорный запрет на называние некоторых явлений и состояний (не называй – накличешь!), более того, сделала их предметом анализа, следовательно, в каких-то ситуациях – эстетизации.

У Пушкина понятие греха с конца 1820-х годов становится своеобразным лейтмотивом в его духовных переживаниях и поэтических текстах. Кульминационное и сверхкраткое выражение это находит в четверостишии 1836 г.:

Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег **пахучий** [Пушкин, III, с. 368].

Запечатлена своего рода физиологическая природа, существо греха: он гонится за человеком, как голодный лев по запаху за оленем, чует, где есть для него почва... Не остановится, пока не достигнет.

А вот и «**веселье**», в его двойственности:

Как с древа сорвался предатель ученик,
Диавол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геены **голодной**...
Там бесы, **радуясь** и плеща, на рога
Прияли с **хохотом** всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с **веселием** на лике
Лобзанием своим насквозь **прожог уста**,
В предательскую ночь **лобзавшие** Христа [Пушкин, III, с. 367].

В «физиологическом», условно говоря, контексте веселье и радость теряют фаворские оттенки и предстают как антиподы христианскому «Радуйтесь и веселитесь» (выворачивают наизнанку, оставив оболочку; дух и жизнь из них исторгнуты). Грех человеческий, когда дух подчинен плоти, переживается как торжество дьявола.

Пушкин мог найти в богослужебных и евангельских текстах понятия, которые потребовались ему для наиболее точного выражения – уже в **поэтических** текстах – тех душевных состояний его героев, которые самому автору становились все более близкими. О. А. Сергеева, анализируя церковный гимн «Свете Тихий» в русской поэзии, особо остановилась на романе в стихах Пушкина и, говоря о Татьяне (вспомним авторские определения – «милый идеал», «верный идеал»), выделила в ее духовно-душевном облике выражение «тихости» и «умиления».

До сих пор внимание комментаторов, замечает исследовательница, было сосредоточено на имени героини, но ничего не сказано о фамилии Татьяны. Ларина – фамилия значимая и происходит от греческого корня; ее можно истолковать как Милая (Милостивая) и Тихая, при этом О. А. Сергеева отмечает, что впервые на тихий свет, разлитый в душе Татьяны Лариной, обратил внимание А. С. Позов [Позов, 1998, с. 49]. Именно эти характеристики сопровождают героиню на протяжении всего романа:

... всё деве **милой** <... >

Твердит о нем.

И предается безусловно

Любви, как **милое** дитя.

...Кто ей внушил **умильный** взор...

Если эпитетом «милый/милая» награждены все главные герои, то «умильный» взор свойственен только Татьяне. В сознании русского читателя слово «**умильный**» невольно ассоциируется с иконой Божией Матери «Умиление». Несколько раз Пушкин рисует Татьяну в раме окна:

– Скажи, которая Татьяна?

– Да та, которая грустна

И молчалива, как Светлана,

Вошла и села у окна [Пушкин, V, с. 57].

Полная подборка цитат позволила О. А. Сергеевой высказать предположение, что Татьяна обрисована по тому же принципу, что изображение ликов на иконе, то есть в прямой (где явлено «внешнее») и в обратной (где явлено «внутреннее») перспективе. Пушкинская героиня изображена попеременно «у окна» (прямая перспектива) и «в окне» (обратная перспектива). Читателю предложено самому «увидеть» то лицо, то лик Татьяны, который медленно выписывается Автором. Когда Татьяна обрисована в прямой перспективе, поясняет исследовательница, мы видим, как созревает ее душа (ее символом выступает лунный свет, Диана). Когда Татьяна обрисована в обратной перспективе, становится возможным проследить рождение ее «в духе» (заря, звон колоколов, – «предтеча утренних трудов...») – сопровождает ее взросление) [Сергеева, 2002, с. 88].

Поэтическое слово, впитав в себя опыт богослужебного текста, являет сочетание тонкости и точности. Работа над «Евгением Онегиным» начинается в 1823 г., а это – время определенного духовного кризиса поэта, искушения сомнением («Таврида», «Надеждой сладостной младенчески дыша...», «Демон»). Роман обозначал новый вектор творческого сознания Пушкина: слово художественное, затрагивая этический пласт, приходит в соприкосновение с собственно религиозным текстом, не становясь таковым. Конечно, это, скорее всего, не единственный путь выхода к этической проблематике, но в судьбах Пушкина и Гоголя он проступает вполне определенно. Следует, правда, отметить, что лексические сближения литературных текстов наших авторов не гарантируют тождественность их конкретных переживаний и духовных состояний.

«Умиление» и «тихость» в пушкинском контексте, не будучи замкнуты на религиозно-духовной семантике, выражают именно глубину и одновременно потаенность, сокровенность христианского чувства. У Гоголя «тихий» встречается, кажется, реже [хотя есть «тихая вера» (XII, с. 97). – Е.А.], но присутствует другое понятие, особо писателю близкое и по смыслу приближающееся к тихости и умилению, – «**светлость**». В одном из писем оно соседствует с пушкинским «тихо» (см., например, в письме к Жуковскому: «На душе у меня так тихо и

светло, что не знаю, кого благодарить за это...» – XIII, с. 143). Многим, душевно близким, советует: «Будьте светлы и старайтесь насильно быть светлы и веселу душой» (XII, с. 282: А. О. Смирновой); «...светлей и светлей да будут с каждым днем и минутой ваши мысли» (XII, с. 97: С. Т. Аксакову), «...Душевная ясность и светлость слишком вам к лицу» (XII, с. 286: С. М. Соллогуб). Это состояние мыслится и как залог творчества, его просветления. Вместе с тем в гоголевском контексте понятия светлости соседствует с другим, может быть, не чужеродным, но не пушкинским – «торжественный»: «...чаще и торжественней льются душевные мои слезы...» (XII, с. 69: В. А. Жуковскому); «...никакими обеспечениями и видимыми выгодами жизни... не приобретет торжественного, светлого покоя душа моя» (XII, с. 137: А. С. Данилевскому). В «Авторской исповеди» Гоголь отметил «торжественный тон» (VIII, с. 433) своей книги.

Кроме того, у Гоголя рядом с устремлением к светлости заметно искание и другого состояния. В молитве «На 1846 год» – «Да святы́й Дух снидет на меня и двинет устами моими и да осветит во мне все, **испепелив** и уничтожив греховность и нечистоту и гнусность мою...» [Гоголь, 2007, с. 474]. В «Выбранных местах» отмечено: «Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати **испепелил** в нем ту холодную черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди...» (VIII, с. 331).

«Торжественней», «гимн», «подвиги», «испепелить» оказываются в близком по времени контексте. Можно предположить, что Гоголю ближе, чем Пушкину, собственно аскетическая традиция, но, вместе с тем, как писателя его влечет парадоксальность, контраст состояний и понятий. Переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина у Пушкина – результат обращения к святоотеческой аскетической традиции, но он акцентирует в ней, прежде всего, итог духовного опыта: «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце **оживи**» (оживить изначально данное человеку, но утраченное). Путь и св. отцами, и поэтом – пройден; в известной мере – запечатлён. Но важнее – **обретенное** смирение, терпение, любовь. Гоголь, похоже, к этому движется. И словно боится подойти совсем близко или сознает, что может приблизиться лишь на мгновения. И тотчас их фиксирует, однако подчас создается впечатление, что не может закрепить. Но Гоголь ищет и утверждает неразрывную связь «духовного образования» самого себя и своих сочинений [Гуминский, 2007, с. 20–24; Воропаев, 2019, с. 26–28]. Для Пушкина это не становилось (во всяком случае, в такой степени, как у Гоголя) предметом рефлексии, но связь духовного развития и творчества оказывалась все более органичной.

И Гоголь, как можно понять, дистанцируясь от Пушкина («...другие уже времена пришли»), влечется и влечется к нему, все время потаенно сопоставляет с собой; фиксирует – в творческом сознании своем и современника – разную форму и степень приближения эстетического к этическому. Пишет о том, что поэт «исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творении Бога <...> не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, **не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии**» (VIII, с. 381). Отцы церкви, как известно, предложили

своим читателям «лестницу» духовного становления. И Гоголь отдал последние годы своей жизни этому же труду. Пушкин «лестницу» не выстраивал. Но знаменательно пояснение Гоголя: не подставлял лестницы для тех, которые глухи к поэзии (словно бесполезно тем что-либо подставлять). Духовный труд и поэтический питают друг друга. Поэзия, чуткость к ней предстает как ступень к духовному преображению. В каком-то смысле и святоотеческие труды – духовная поэзия. Не потому ли Гоголь, при всем тяготении к монашеству, говорил: «...все-таки я еще не монах, а писатель» (VIII, с. 444).

И у Пушкина, и у Гоголя заявляет о себе – как единая – тема духовного поиска и напряженного осмысления труда творческого. Говоря гоголевским словом, эти две линии увязываются в один «общий узел». У Пушкина он «завязывается», как известно, к концу 1820-х годов. У Гоголя – от конца 1830-х – к началу 1840-х.

Получается, что в пору приближающегося позитивизма автор «Выбранных мест», чуть ли не бессознательно, передает новой эпохе пушкинский заряд духовной энергии, пусть в другом, собственном варианте, но соединяющий искание своего нового, личного «я» с попытками осуществить единство эстетического и этического, литературного и религиозно-духовного.

Пушкин, откликаясь в 1834 г. на привезенную из Италии и выставленную в Эрмитаже картину Брюллова «Последний день Помпеи», выразил свои впечатления в черновом наброске стихотворения «Везувий зев открыл...». Анализируя незавершенный текст, И. З. Сурат обращает внимание на то, что изображенная на картине катастрофа произошла на сломе эпох, когда античный мир уступал место новой, христианской цивилизации, и «Пушкин воспринял и отразил в своем наброске общую тему брюлловской картины, перенеся в него и эсхатологические, и содомские обертоны сюжета» [Сурат, 2009, с. 299]; она соотносит данный текст со стихотворениями того же времени «Странник» и «Пора, мой друг, пора...», особо отмечая ситуацию внутреннего перелома в человеке после данного ему откровения о скорой смерти. Гоголь, написав свою статью «Последний день Помпеи» в том же 1834 г. и не обратив внимание, в отличие от Пушкина, на христианский аспект в картине Брюллова, по-своему компенсировал это размышлениями о пути самого поэта, поняв концептуальную важность для Пушкина темы духовного становления и, кажется, первым о том заговорив.

Знаменательно, что и рассматривая «существо» русской поэзии в целом, он обращает внимание прежде всего на «переломы» в творческой судьбе поэтов, начиная с XVIII столетия и до 40-х годов XIX-го: отмеченный «перелом поэтического направления» в Жуковском; момент, когда «померкнул свет поэзии» у Языкова; обнаружение не совершившегося, но возможного перехода к иному духовному состоянию у Лермонтова, «приметы» которого «сияли» в конкретных стихотворениях. Сопоставляя Жуковского и Батюшкова («отвлеченная идеальность первого» и «преизобилье сладострастной роскоши второго»), в Пушкине увидел «середину»: «всё уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке...» (VIII, с. 380).

Художник, в котором все «уравновешено», то есть заложена некая самодостаточность, и не должен был думать о том, как подставить кому-то «лестницу»: сама поэзия, откликнувшаяся «на всё, что ни есть во внутреннем человеке» и «на всё, что ни есть в природе видимой и внешней» (VIII, с. 380, 381), – уже являла эстетические ступени для душевно-духовного восхождения.

Но наступающие «другие времена» требовали, по Гоголю, сделать «незримые ступени к христианству» зримыми. О Пушкине же сказано: «... всё там [в поэзии. – Е.А.] до единого есть история его самого. Но это ни для кого незримо», – никто не видел, «какие вещества перегорели в груди поэта» (VIII, с. 383). Пушкинская мера, «середина» препятствовала тому, чтобы всё живущее, пребывающее в поэте стало «ступенью» в развитии и другого человека.

Как видим, у Гоголя появляется антитеза, не всегда прямо высказанная, но легко прочитываемая: незримое / зримое. Если «незримо», велика ли будет польза?

Гоголь как будто отзывается на внутренние противоречия Пушкина, но обнаруживает и свои. Констатирует, что в «Евгении Онегине», романе в стихах, сквозь «собрание разнородных ощущений, нежных элегий, колких эпитграмм» видим и образ «на все откликнувшегося поэта» (VIII, с. 383). Наконец-то, можно сказать, мы видим самого Пушкина. Но лучшее русское произведение в повествовательном роде, по Гоголю, все же «Капитанская дочка» – произведение без явного присутствия автора, без его первенства.

От произведения, где присутствует автор, непосредственно на всё откликающийся, Пушкин движется к другому, где авторское присутствие почти незримо. Можно сказать, что автор «Выбранных мест» отозвался на эволюцию и завершенность творческого пути Пушкина, констатируя, что в итоге поэт вышел к «лучшему русскому произведению». «Выбранные» же «места» в этом контексте предстают как произведение, в котором на первом плане оказывается образ «на все откликающегося» автора. Однако размышление о Пушкине открывает и перспективу, которая влечет самого Гоголя, – создать подлинно русское произведение в повествовательном роде, где характеры были бы взяты «из нас же самих», но представляли бы «в очищенном и лучшем виде» (VIII, с. 385). Это, как мы понимаем, программа второго тома «Мертвых душ». Онтологической завершенности пути Пушкина если не противостоит, то оттеняет ее сущностная незавершенность гоголевского пути.

Вместе с тем – то, что у Пушкина замечено, обозначено, но словно недосказано и в этом смысле не всегда зримо, – то у Гоголя разъято, обнажено, сделано зримым. Это касается и «красоты», и «душевной чистоты», которые декларируются в начале «Выбранных мест» как спасительные начала. Душа жены предстает как хранительный талисман для мужа, но душа женщины может оказаться и злом для него, погубить навеки. При этом Гоголь рассматривает женщину и ее красоту в миру. У Пушкина подлинная красота «выше мира и страстей». Понятийный ряд «Выбранных мест»: «власть чистоты душевной», «красота женщины еще тайна», «чистая прелесть <...> невинности», «высшая красота»; «недаром определено, чтобы всех разом поражала красота»

(VIII, с. 266). Однако рядом: «**гордость** чистотой своей»; «человечество нынешнего века, **влюбилось** в чистоту и красоту свою»; «человек девятнадцатого века» – это человек, «**гордый** благоуханием чистоты своей» (VIII, с. 412). «Умиление» и «свете тихий» в этом контексте невозможны.

Но, оказывается, и у Пушкина возможна власть красоты, более того – «мощная власть». Однако контекст иной:

Прошли восторги, и печали,
И левоверные мечты...
Но вот опять **затрепетали**
Пред мощной **властью красоты** [Пушкин, III, с. 347].

Трепет перед красотой исключает гордость чистотой и красотой. У Пушкина от красоты исходит власть сама по себе [Соколова, 1986, с. 24–30], красавица не заботится о том, какое впечатление может произвести. В гоголевском тексте особо акцентируется направленность власти красоты.

В стихотворении же Пушкина 1836 г., в переложении великопостной молитвы Ефрема Сирина, видит значимое для поэта соседство слов:

И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи [Пушкин, III, с. 370].

Красота сама по себе уже не упоминается, она просвечивает в тех категориях, которые образуют некое единство, а точнее, равновесие – смирения, терпения, любви, целомудрия. Лирика Пушкина, в целом взятая, открывает равную необходимость для человека чувствующего и мыслящего – постоянного оживотворения «любви», «восторгов», «печали», но одновременно – смирения, терпения, целомудрия.

Можно сказать, что этого естественного слияния эстетического и духовного начал искал и Гоголь, но вынужден был признать, что в «другие», не-пушкинские времена имеет право на существование и на иной понятийный ряд.

Однако **поиск** единства составляет центральный вектор размышлений на завершающем этапе творчества одного и другого писателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бочаров, С. Г. «Красавица мира». Женская красота у Гоголя / С. Г. Бочаров // Гоголь как явление мировой литературы. По мат-лам междунар. науч. конф., посвященной 150-летию со дня смерти Н. В. Гоголя. – Москва: Изд-во ИМЛИ РАН, 2003. – С. 15–35.

Воропаев, В. А. Н. В. Гоголь и духовные писатели его времени / В. А. Воропаев // Гоголь и пути развития русской литературы. К 200-летию И. С. Тургенева. 18-е Гоголевские чтения. – Москва; Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2019. – С. 24–34.

Гоголь, Н. В. Нужно любить Россию. О вере и государстве Российском / Н. В. Гоголь. – Санкт-Петербург: Русская симфония, 2007. – 560 с.

Гоголь, Н. В. Полное собрание сочинений: в 14 т. / Н. В. Гоголь. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1937–1952.

Гуминский, В. М. Жизнь и творчество Гоголя в контексте православной традиции / В. М. Гуминский // Гоголевский вестник. – Вып. 1. – Москва: Наука, 2007. – С. 3–44.

Долинин, А. С. Пушкин и Гоголь (К вопросу об их личных отношениях) / А. С. Долинин // Пушкинский сб. памяти проф. С. А. Венгерова. – Москва; Петроград, 1922. – С. 181–197.

Иваницкий, А. И. Архетипы Гоголя / А. И. Иваницкий // Литературные архетипы и универсалии. – Москва: Изд-во РГГУ, 2001. – С. 248–292.

Кибальник, С. А. Художественная философия Пушкина / С. А. Кибальник. – Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 1998. – 199 с.

Котельников, В. А. Христианский реализм Пушкина / В. А. Котельников // Духовный труженик. А. С. Пушкин в контексте русской культуры. – Санкт-Петербург: Наука, 1999. – С. 323–328.

Мальчукова, Т. Г. Стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» и «Пророк» в контексте христианской культуры / Т. Г. Мальчукова // Духовный труженик. А. С. Пушкин в контексте русской культуры. – Санкт-Петербург: Наука, 1999. – С. 303–314.

Позов, А. С. Метафизика Пушкина / А. С. Позов. – Москва: Наследие, 1998. – 312 с.

Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. / А. С. Пушкин. – Изд. 2-е. – Москва: Изд-во АН СССР, 1956–1958.

Сергеева, О. А. «Свете Тихий» в русской поэзии / О. А. Сергеева; История. Богословие. Метафизика. Лингвистика. Поэтика. – Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 139 с.

Соколова, К. И. Два стихотворения А. С. Пушкина 1832 года («Красавица» и «К***»)/ К. И. Соколова // Проблемы современного пушкиноведения: Межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград: Изд-во ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1986. – С. 24–30.

Софронова, Л. А. Мифопоэтика раннего Гоголя / Л. А. Софронова. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2010. – 296 с.

Старк, В. П. Стихотворение «Отцы пустынноики и жены непорочны...» и цикл Пушкина 1836 г. / В. П. Старк // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. – Ленинград: Наука, 1982. – С. 193–203.

Сурат, И. З. Пушкин: биография и лирика / И. З. Сурат. – Москва: Наследие, 1999. – 240 с.

Сурат, И. З. Вчерашнее солнце. О Пушкине и пушкинистах / И. З. Сурат. – Москва: Изд-во РГГУ, 2009. – 652 с.

Фомичев, С. А. Пушкин и древнерусская литература / С. А. Фомичев // Русская литература. – 1987. – № 1. – С. 28–32.

REFERENCES:

Bocharov, S. G. «Krasavitsa mira». Zhenskaya krasota u Gogolya / S. G. Bocharov // Gogol' kak yavleniye mirovoy literatury. Po mat-lam mezhdunar. nauch. konf., posvyashchennoy 150-letiyu so dnya smerti N. V. Gogolya. – Moskva: Izd-vo IMLI RAN, 2003. – S. 15–35.

Dolinin, A. S. Pushkin i Gogol' (K voprosu ob ikh lichnykh otnosheniyakh) / A. S. Dolinin // Pushkinskiy sb. pamyati prof. S. A. Vengerova.– Moskva; Petrograd, 1922.– S. 181–197.

Fomichev, S. A. Pushkin i drevnerusskaya literatura / S. A. Fomichev // Russkaya literatura.– 1987.– № 1.– S. 28–32.

Ivanitskiy, A. I. Arkhetipy Gogolya / A. I. Ivanitskiy // Literaturnyye arkhetipy i universalii.– Moskva: Izd-vo RGGU, 2001.– S. 248–292.

Gogol', N. V. Nuzhno lyubit' Rossiyu. O vere i gosudarstve Rossiyskom / N. V. Gogol'.– Sankt-Peterburg: Russkaya simfoniya, 2007.– 560 s.

Gogol', N. V. Polnoe sobranie sochinenij: v 14 t. / N. V. Gogol'.– Moskva; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1937–1952.

Guminskiy, V. M. Zhizn' i tvorchestvo Gogolya v kontekste pravoslavnoy traditsii / V. M. Guminskiy // Gogolevskiy vestnik.– Vyp. 1.– Moskva: Nauka, 2007.– S. 3–44.

Kibal'nik, S. A. Khudozhestvennaya filosofiya Pushkina / S. A. Kibal'nik.– Sankt-Peterburg: «Dmitriy Bulanin», 1998.– 199 s.

Kotel'nikov, V. A. Khristianskiy realizm Pushkina / V. A. Kotel'nikov // Dukhovnyy truzhenik. A. S. Pushkin v kontekste russkoy kul'tury.– Sankt-Peterburg: Nauka, 1999.– S. 323–328.

Mal'chukova, T. G. Stikhotvoreniya A. S. Pushkina «Vospominaniye» i «Prorok» v kontekste khristianskoy kul'tury / T. G. Mal'chukova // Dukhovnyy truzhenik. A. S. Pushkin v kontekste russkoy kul'tury.– S. 303–314.

Pozov, A. S. Metafizika Pushkina / A. S. Pozov.– Moskva: Naslediye, 1998.– 312s.

Pushkin, A. S. Polnoe sobranie sochinenij: v 10 t. / A. S. Pushkin.– Izd. 2-ye.– Moskva: Izd-vo AN SSSR, 1956–1958.

Sergeyeva, O. A. «Svete Tikhii» v russkoy poezii / O. A. Sergeyeva; Istoriya. Bogosloviye. Metafizika. Lingvistika. Poetika.– Velikiy Novgorod: Izd-vo NovGU im. Yaroslava Mudrogo, 2002.– 139 s.

Sokolova, K. I. Dva stikhotvoreniya A. S. Pushkina 1832 goda («Krasavitsa» i «K***»)/ K. I. Sokolova // Problemy sovremennogo pushkinovedeniya: Mezhevuz. sb. nauch. tr.– Leningrad: Izd-vo LGPI im. A. I. Gertsena, 1986.– S. 24–30.

Sofronova, L. A. Mifopoetika rannego Gogolya / L. A. Sofronova.– Sankt-Peterburg: Aletyya, 2010.– 296s.

Stark, V. P. Stikhotvoreniye «Ottsy pustynniki i zheny neporochny...» i tsikl Pushkina 1836 g. / V. P. Stark // Pushkin. Issledovaniya i materialy. T. X.– Leningrad: Nauka, 1982.– S. 193–203.

Surat, I. Z. Pushkin: biografiya i lirika / I. Z. Surat.– Moskva: Naslediye, 1999.– 240 s.

Surat, I. Z. Vcherashneye solntse. O Pushkine i pushkinistakh / I. Z. Surat.– Moskva: Izd-vo RGGU, 2009.– 652 s.

Voropayev, V. A. N. V. Gogol' i dukhovnyye pisateli yego vremeni / V. A. Voropayev // Gogol' i puti razvitiya russkoy literatury. K 200-letiyu I. S. Turgeneva. 18-ye Gogolevskiy chteniya.– Moskva; Novosibirsk: Novosib. izd. dom, 2019.– S. 24–34..